

Оптимум модернизации

Руслан Хестанов



Владимир Попов. *Стратегии экономического развития*. М.: ГУ-ВШЭ, 2010.

Следовало ожидать, что кризис 2008–2009 годов приведет к радикальной перестройке экономической науки, к пересмотру базовых положений дисциплины. Однако до сих пор господствующей экономической ортодоксии никто по-настоящему не бросил вызов. В моду снова вошел Кейнс, но разве можно считать это вызовом? Некоторые из самых нетривиальных академических экономистов с грустной иронией говорят о конце эпохи господства экономической дисциплины. Но это настроение неожиданно наступившей трезвости пока не материализовалось в каких бы то ни было заметных дискуссиях и публикациях.

Тем более неожиданно, что один из первых значимых прорывов из этой изрядно затянувшейся депрессии в экономической науке был сделан именно российским ученым. Книга Владимира Попова «Стратегии экономического развития» возвращает доверие к дисциплине и, избавляя ее от незамысловатых схем идеологической наивности, дает ей шанс превратиться из царицы наук в науку вполне *нормальную*.

Книгу Попова нельзя в прямом смысле слова назвать идейным продуктом или интеллектуальной реакцией на кризис 2008–2009 годов. Скорее глобальный шок актуализировал работу экономистов, которые до сих пор не вписывались в неolibеральный мейнстрим. В начале 1990-х го-

дов, когда в России шло бурное обсуждение стратегии развития страны, Владимир Попов ходил по редакциям столичных газет, предлагая одну небольшую статью. Ни одно демократическое издание так и не решилось ее опубликовать. В этой примечательной статье экономист предложил свои расчеты того, во что стране обойдется шоковая терапия. Попов утверждал, что трансформационный шок будет стоить России потери около 40% ВВП. Так, собственно, как нам теперь известно, и произошло. Но реальность оказалась, может быть, еще страшнее, чем сам Попов мог представить в начале 1990-х.

Попов и сегодня продолжает кого-то изумлять своей проницательностью, а кого-то, особенно либеральных экономистов-ортодоксов, откровенно раздражать. Несмотря на то что его работы всегда провоцируют у противников идеологический рефлекс неприязни, Попова нельзя назвать ни противником экономической либерализации, ни ностальгирующим по советскому Госплану догматиком. Как мы убедимся, его позиция много сложнее...

О ЦЕНЕ РЕФОРМ

«Трудно поверить, — писал полгода назад для одного канадского интернет-портала Попов, — но в последние годы сталинского правления (1950–1953) коэффициент смертности был в два раза ниже, чем в 1990-е годы!». Увеличение смертности и сокращение продолжительности жизни, к которым привела рыночная трансформация и демократизация в постсоветских странах, были настолько драматичными, что нужно очень постараться, чтобы найти в истории человечества сопоставимые с постсоветским шоком аналогии. Вот какие аналогии Попов находит.

Резкий рост смертности и сокращение продолжительности жизни в самой истории России не имели прецедентов в мирное время, то есть в периоды, когда не было войн, эпидемий или голода. Между 1987 и 1994 годом смертность в России возросла на 60%, а продолжительность жизни упала с 70 до 64 лет. На первый взгляд, это легко объясняется трансформационной рецессией 1990-х, когда в период между 1989 и 1998-м производство упало на 45%, а социальные индикаторы, вроде преступности, числа убийств и само-

¹ Попов V. V. And Russia is stressed too — which is why the world ought to take note [http://globalbrief.ca/blog/2010/06/14/the-russians-are-stressed/]

убийств, а также экономического неравенства, резко ухудшились. Но все это, считает Попов, плохо объясняет ошеломительные масштабы роста смертности. Даже во время Великой депрессии в Соединенных Штатах средняя продолжительность жизни выросла с 57 лет в 1929 году до 63 лет в 1932 году. При этом рост был характерен как для женщин, так и для белых. Показатели смертности также падали.

Постсоветскую катастрофу можно сравнить лишь с тремя историческими эпизодами. Первый — переход от эпохи палеолита к неолиту (между 7000 г. до н. э. и 3000 г. до н. э.), когда средняя продолжительность жизни падала в течение нескольких тысячелетий, возможно, из-за изменения режима питания и образа жизни. Другой эпизод, гораздо лучше документированный, относится к эпохе приватизации общинных земель (огораживания) и индустриальной революции в Англии в XVI–XVII веках. Тогда из-за изменений в образе жизни, резкого увеличения неравенства и обнищания крестьянских масс средняя продолжительность жизни упала почти на 10 лет — с 40 лет до 30 с небольшим. Столь же впечатляющее изменение в средней продолжительности жизни имело место на юге Соединенных Штатов после отмены рабства в 1865 году.

Однако далеко не все страны, решившиеся на рыночную трансформацию в последние десятилетия прошлого века, заплатили за нее столь же высокую цену, как Россия и некоторые другие страны бывшего СССР. Новая книга Попова отвечает на вопрос: почему страны с переходной экономикой проделали столь различные траектории? Российский случай раскрывается в контексте экономических биографий других постсоциалистических и социалистических (Китай, Вьетнам, Куба) стран.

Анализируя колоссальный опыт либерализации, накопленный странами бывшего советского блока в 1990-е годы, экономисты идут по протоптанной идеологизированной политической наукой тропке — они исходят из жесткого противопоставления стран Центральной Европы и республик бывшего СССР. Успехи перехода к рынку определяются близостью к либераль-

ной и демократической Европе, а неудачи — зависимостью от авторитарного соседа — недемократической и авторитарной России. Такой подход позволял до недавних пор удерживаться на плаву сторонникам шоковой терапии, рецепты которых были суммированы и опубликованы еще в 1996 году в докладе Всемирного Банка о мировом развитии «От плана к рынку». Суть рецепта в следующем: максимальная либерализация цен и рынков, снижение инфляции хотя бы до уровня в 40%, ограничение государственных расходов, приватизация и открытость экономики.

На первый взгляд, пишет Попов, такой подход себя оправдал на практике. Так, страны Центральной Европы, последовательно себя либерализующие, выглядят довольно успешными. Польша сумела превзойти докризисный уровень уже в 1996 году, Словения — в 1998 году, Венгрия, Чехия, Словакия — в 1999–2001 годах. В то же время страны СНГ, не проявлявшие похожего рыночного энтузиазма и растянувшие реформы аж на 4 года — с 1992 по 1996-й, так и не усмирили инфляцию, уронив при этом ВВП до 50%. Россия и по сей день так и не вышла на свой докризисный уровень. Эти и подобные эмпирические факты позволили экономистам со спокойной совестью уверовать в аксиому: динамика ВВП тем благоприятнее, чем выше степень либерализации и ниже инфляция.

Чтобы покончить с этой чудовищной по своей простоте догмой, Попов значительно расширяет географический контекст. Получая более пеструю перспективу, он добивается такой драматизации, которая подводит его к созданию новой теории трансформационного развития.

Возьмем, скажем, Китай. Несмотря на беспрецедентный экономический рост последних трех десятилетий, он по сей день имеет более низкие показатели либерализации, чем страны Центральной Европы. Да и спада, почти (!) обязательного спутника шоковой терапии, там не было. Другой интригующий пример — южный сосед Китая — Вьетнам. Приступив к реформам в 1986 году он пошел по пути, сильно отличающемуся от китайского. Сначала довольно долго следовал по кривой и едва ли различимой

тропе Горбачева — с 1986 по 1989 год. Затем довольно неожиданно, на 9 месяцев раньше поляков, Вьетнам рискнул запустить шоковую терапию: в одно мгновение дерегулировал цены на 90%, девальвировал донг и заменил множество обменных курсов единым. Несмотря на столь радикальное вхождение в рынок, во Вьетнаме не было никакого спада, а, напротив, наблюдался ускоренный рост производства и ВВП (в среднем 7% в 90-е годы).

Таким образом, используя совершенно разные по содержанию стратегии перехода к рынку, две соседние страны с почти равным уровнем развития, структурой хозяйства, близким менталитетом, экономической культурой и пр. добились одинаково впечатляющих успехов. Страны СНГ и Центральной Европы с горем пополам можно было вписать в стройную схему сторонников шоковой терапии. Но что делать с опытом этих двух азиатских стран?

ШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ

Теория шоковой терапии не может ответить на вопрос: почему в одних странах шоковая терапия и форсированная либерализация приводит к спаду, а в других, напротив, к экономическому подъему. Объясняя эту странность, Попов опирается на теорию, которая на жаргоне экономистов называется «теорией неблагоприятного шока предложения» (adverse supply shock).

В реальной жизни эта теоретическая модель проявляет себя примерно следующим образом. В плановой экономике, где цены устанавливаются директивно, накапливаются ценовые диспропорции. И когда правительство реформаторов решает осуществить полную и одномоментную дерегуляцию цен, часть отраслей тут же становятся нерентабельными и нежизнеспособными. Если в стране, где осуществляется либерализация цен, 50% производства приходится на отрасли, которые после дерегуляции цен становятся неконкурентоспособными, то и производство здесь упадет на те же 50%. Впоследствии рост производства и инвестиций может иметь место только в отраслях оставшихся рентабельными. Либерализация цен в России сде-



Виктор Трофимов. Болото. 2007

ВИКТОР ТРОФИМОВ (Витёк)

Родился в 1953 году в Ленинграде. Закончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище, учился у К. Застенского и Б. Гурвича. Работал на киностудии Леннаучфильм мультипликатором, художником-постановщиком и режиссером; в различных издательствах — книжным графиком. С 1975 года стал самостоятельно заниматься живописью, регулярно принимая участие в официальных и неофициальных выставках. Член Международной федерации художников IFA. Его работы как бесподобного колориста отличает узнаваемость стиля: точность композиции, ироничность образов и умная фантазия. Многие произведения находятся в частных коллекциях России, США, Бельгии и Финляндии.

лала 45% производства неконкурентоспособными, соответственно производство понизилось на те же 45%.

Альтернативой шоку могла быть стратегия постепенных и рассчитанных преобразований. Темпы освобождения цен, отказа от субсидий и тарифов можно было поставить в зависимость от того, с какой скоростью конкурентоспособные отрасли компенсируют спад производства в отраслях неконкурентоспособных. Если спад в неконкурентоспособных отраслях успевал бы компенсироваться инвестициями в производство, тогда удалось бы избежать трансформационного обвала. Оптимальный темп либерализации цен в таком случае рассчитывается в зависимости от инвестиционного потенциала страны.

Естественно, что ценовые диспропорции были выше в тех странах, которые обладали более значительным и развитым промышленным потенциалом. Поэтому-то последствия шоковой терапии были более катастрофическими именно для индустриально развитых стран социалистического лагеря. В этом смысле сельскохозяйственные бедные страны вроде Монголии, Албании, Вьетнама или Китая имели явные преимущества, «поскольку их примитивный основной капитал был менее подвержен деформациям и, даже если и был деформирован и подлежал замене, составлял по стоимости меньшую часть ВВП и инвестиций».

Так, китайцы, рассказывает Попов, в 1979-м могли себе позволить земли коммун «раздать на огороды» без всякого ущерба для технологии и эффективности сельского хозяйства. Но советские колхозы и совхозы имели централизованную инфраструктуру, в которую были интегрированы сельхозтехника, ремонтные базы, элеваторы, жилье, учреждения культуры и пр. Понятно, что переход к семейному фермерству все это превращал в руины: «Доводя мысль до крайности, можно сказать, что в Китае, где диспропорции плановой системы не были увековечены „в металле“, выгоды рынка сказались бы сразу при любом варианте перехода, будь то постепенные реформы или шокотерапия. Падения производства не было бы и при шокотерапии (доказательство — Вьетнам). В Восточной Европе и СССР,

напротив, более высокий уровень развития обернулся одновременно и большей степенью материализации диспропорций в виде деформированности основных фондов».

Статистически Попов демонстрирует, насколько хорошо показатель диспропорций предсказывает динамику ВВП в реформируемых странах. С его помощью можно объяснить около 32% вариаций для 28 стран и около 50% для 22 стран. Но статистическая достоверность показателя диспропорций повышается до 80%, если к нему добавить показатель инфляции, то есть фактор экономической политики.

С разговора об инфляции начинается самая важная и интересная часть исследования Попова. Инфляция для него — это один из статистических показателей эффективности государственных институтов. Инфляция не может быть показателем просто «плохой политики». Ведь даже самым наивным в рыночном смысле постсоциалистическим правительствам было понятно, что печатать много денег — это нехорошо. По уровню инфляции можно судить о том, насколько правительство зависимо от финансовых групп, отраслевых лобби, регионов и парламента, а также о том, насколько оно способно собирать налоги и самостоятельно определять статьи расходов.

В тех странах, где государственные институты оказывались слабыми и малоэффективными, как правило, в разы увеличивалась доля теневой экономики, сокращались социальные обязательства по предоставлению коллективных благ вроде образования и здравоохранения, накапливались неплатежи и задолженности по налогам, происходила демонетизация и процветал бартер. Этому пестрому букету проблем стран переходной экономики не так-то просто найти статистическое выражение. Однако наилучшим образом, по мнению Попова, он отражается в таком показателе, как доля государственных расходов в ВВП. По этому показателю можно судить о финансовой мощи государства.

ФАБУЛА ТРАНСФОРМАЦИИ

До того как социалистические страны приступили к рыночным реформам, они перераспределяли

через бюджет около 50% ВВП

и не уступали в финансовой мощи государствам Западной Европы. Однако доля госрасходов резко падала сразу после того, как страна приступала к рыночной реформе: «в странах Центральной Европы и в Эстонии процесс вскоре был остановлен и даже повернут вспять, тогда как в большинстве стран СНГ и Юго-Восточной Европы он продолжался и привел к падению доли госдоходов в ВВП в 1,5–2 раза».

Однако сокращение госрасходов в разных странах происходило по-разному. Попов выделяет три типа изменения структуры госрасходов. Сильные авторитарные режимы (Китай, например) сокращали расходы за счет обороны, субсидий и инвестиций, однако расходы на «обычное правительство» (образование, здравоохранение, правоохранительные органы и пр.) росли пропорционально росту ВВП. Сильные демократические режимы (как в Польше) расходы на обычное правительство сокращали до перехода к рыночным реформам, но приступили к их повышению в ходе реформ. Страны со слабым демократическим режимом (это случай России) сокращали как расходы на оборону, инвестиции и субсидии, так и расходы на «обычное правительство», что, как считает Попов, «привело к подрыву институционального потенциала государства».

Так, в России, где ВВП в 1996 году едва составлял половину предкризисного уровня, расходы на обычное правительство упали почти в 3 раза, а потому государственные институты были практически разрушены. Но было еще одно неприятное последствие снижения доли госрасходов в ВВП — социальное расслоение и рост неравенства в распределении доходов. Рост неравенства был тем сильнее, чем больше сокращалась в стране доля госрасходов в ВВП, чем слабее были государственные институты. Неравномерное распределение доходов привело к ухудшению потенциала роста и инвестиционного климата. Но самое главное, как показывает Попов, неравенство загоняло страны в ловушку типичной для многих постсоветских режимов политики — макроэкономического популизма, то есть перераспределения доходов конку-

рентоспособных отраслей к неконкурентоспособным, от успешных предприятий к неудачникам: «проще говоря, чем сильнее неравенство в доходах, тем больше соблазн перераспределять „общественный пирог“ вместо того, чтобы его увеличивать».

Все романы имеют одну фабулу — все они рассказывают о любви, но одна и та же фабула в каждом романе разыгрывает свою сюжетную линию. Так вот, фабулой постсоциалистических реформ, как считает Попов, является сохранность или деградация дееспособных институтов государства: «Как минимум на 90% это история несостоятельности государства и его институтов (government failure), а не несостоятельности рынка и недостаточной либерализации (market failure)».

Статистический анализ постсоциалистических экономик, который предложил Попов, показывает, что провал или успех реформ определялся не тем, какими темпами проводилась либерализация — постепенно или моментально, не режимом власти — демократическим или авторитарным, но степени эффективности институтов государства. Поэтому градуализм китайских реформ был столь же успешным, как и шоковая терапия во Вьетнаме.

Особенную роль в экономической реконструкции истории реформ Попова играет один внеэкономический фактор — демократизация. Отмечая явную зависимость между демократизацией и понижением институционального потенциала государств, Попов ставит вопрос ребром: почему демократизация подрывает качество институтов? Надо, однако, отдавать отчет в том, что Попов ведет речь не о демократии вообще, но о процессе демократизации в странах с переходной экономикой. Он четко отличает либеральные демократии от демократий нелиберальных, то есть (развитые) демократии, где уже работают институты защиты прав личности, собственности и правопорядка, от демократий, где такие институты, неразрывно связанные с рынком, еще не созданы.

Попов опять же статистически показывает, насколько большая зависимость прослеживается между экономической либерализацией и демократизацией. Авторитарные

страны могут выбирать темп реформ и, не попадая в ловушку макроэкономического популизма, определять долю госрасходов в ВВП. Страны с демократическими режимами, как правило, проводят более радикальную политику либерализации, без всякой оглядки на сохранность государственных институтов. Игра на иррациональном желании демократической общественности получить все и сразу облегчает «захват» или приватизацию государства. Нелиберальная демократия резко понижает качество институтов и приводит к подрыву правопорядка.

Важной для Попова иллюстрацией является Кыргызстан, который в середине 1990-х годов считался одной из самых демократических стран на постсоветском пространстве. Он был моделью и витриной для Международного валютного фонда и *Freedom House*. Кыргызстан был принят самым первым из всех постсоветских республик в ВТО в 1998 году. Но как раз Кыргызстан дальше других республик продвинулся в подрыве правопорядка и государственных институтов, в коррупции, в росте теневой экономики. Череда государственных переворотов в итоге превратили Кыргызстан в несостоявшееся государство.

Понятно, что подобное ослабление институтов государства и правопорядка оказывает подавляющее воздействие на производство и экономический рост. На первом этапе реформ демократизация приводит обычно к отрицательным эффектам, поскольку стимулирует ускорение либерализации в то время, когда в экономике есть еще большой неконкурентоспособный сектор. А «скорость перемещения ресурсов из неконкурентоспособного в конкурентоспособный сектор не бесконечна, она ограничена инвестиционными возможностями экономики», — пишет Попов. Демократизация, таким образом, толкает к такой структурной перестройке, масштабы которой превышают инвестиционный потенциал страны. Поэтому роста производства в прибыльных отраслях оказывается недостаточно для компенсации его падения в неприбыльных. Так работает механизм типичного структурного кризиса, триггером которого является демократизация.

Авторитарные режимы, таким

образом, в переходный период даже при слабом правопорядке, вакуум которого они компенсируют авторитаризмом, оказываются более способными предотвратить развал институтов, а значит и сохранить потенциал экономического роста.

* * *

Нелишне будет повторить: более всего правильному прочтению важной книги Владимира Попова может помешать догматический и идеологизированный подход. Вроде того, авторитаризм — это благо, а весь вред — от демократии, что либерализация должна быть обязательно постепенной, но никак не шоковой. Модернизация — это искусство, суть которого в том и состоит, «чтобы вовремя переключаться с одной политики на другую, как переключает скорости опытный гонщик на поворотах или как врач меняет терапию по мере выздоровления больного. Задача экономической науки — найти эти оптимальные сочетания для каждой страны и таким образом заполнить клеточки экономической периодической таблицы». В строгом смысле слова Попова можно назвать государственным очень условно и с большой натяжкой. Далеко не всегда, говорит он, усиление государства приводило к ускоренному росту. О слабости элитарской модели свидетельствует и феноменальный провал плановой экономики в СССР и долговой кризис в Латинской Америке начала 1980-х годов. «Инженерия экономического роста — как приготовление кулинарного шедевра: все ингредиенты должны быть в точности в правильных пропорциях, если чего-то не хватает или что-то в избытке, спусковой механизм роста не сработает, „экономического чуда“ не случится», — заключает экономист.

В настоящее время Владимир Попов работает в команде Кваме Сундарамы Джомо, помощника Генерального секретаря ООН по экономике, вокруг которого сложилась группа неортодоксальных экономистов. В небольшом, но важном и содержательном предисловии к книге, Джомо представил ее как критический итог длительной и поучительной послевоенной эволюции теорий экономического развития. ■